

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800018924-2

**Мой “Анти-Бахтин”
(к вопросу о научной интерпретации “фантастического рассказа”
Ф.М. Достоевского “Сон смешного человека”)**

© 2022 г. С. А. Кибальник

Доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4
kibalnik007@mail.ru

Резюме. В статье детально продемонстрированы многочисленные неточности М.М. Бахтина в интерпретации “фантастического рассказа” Достоевского. Преувеличение им традиции “мениппеи” и амбивалентности “Сна смешного человека” приводит к тому, что философ проходит мимо главного в нем. Понять смысл рассказа можно только с учетом художественного претворения Достоевским ряда христианских представлений. Неточно считывая автоинтертекстуальность “Сна...” по отношению ко многим другим предшествующим и последующим произведениям Достоевского, Бахтин не улавливает специфическую для писателя постановку темы. И, соответственно, не замечает в нем мотивы губительности всеобщего “равнодушия”, невозможности сохранения в современном мире “целостности” сознания и издержек его развития в человеке. Между тем, детальное проследивание внутреннего сродства Зосимы, Алеши и даже Ивана со “смешным человеком” позволяет вычленить некоторые сквозные мотивы и узловые моменты как становления у позднего Достоевского концепции обновления мира, так и особенностей ее художественного воплощения. В работе также показано, как издержки бахтинского подхода к Достоевскому то и дело сказываются и в современном достоевковедении — в том числе и в истолковании “Сна смешного человека”.

Ключевые слова: Достоевский, “Сон смешного человека”, автоинтертекстуальность, интерпретация, Бахтин, амбивалентность, христианский, сквозные мотивы.

Для цитирования: Кибальник С.А. Мой “Анти-Бахтин” (к вопросу о научной интерпретации “фантастического рассказа” Ф.М. Достоевского “Сон смешного человека”) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2022. Т. 81. № 1. С. 65–73. DOI: 10.31857/S160578800018924-2

**My “Anti-Bakhtin” (on the Issue of Interpretation of Dostoevsky’s Story
“The Dream of a Ridiculous Man”)**

© 2022 Serguei A. Kibalnik

Doct. Sci. (Philol.),
Leading Researcher at the Institute of Russian Literature
(the Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences,
4 Makarov Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia
kibalnik007@mail.ru

Abstract. The article demonstrates in detail the numerous inaccuracies allowed by Mikhail M. Bakhtin in his interpretation of Dostoevsky’s “fantastic story”. The stress on the role of the “menippea” and consequently on the ambivalence of “The Dream of a Ridiculous Man” makes him overlook the main import of the

story. The meaning of the story might be grasped only by taking into account Dostoevsky's artistic use of a set of Christian ideas. Striving — though rather inaccurately — to account for auto-intertextuality of “The Dream” in relation to many other previous and subsequent works of Dostoevsky, Bakhtin fails to recognize the specifically Dostoevskian formulation of the theme. And, accordingly, he skips the motives of the ruinous universal “indifference” (Russ. “ravnodushie”), the impossibility of preserving the “integrity” (Russ. “tselostnost”) of consciousness in the modern world and all the consequent imperfections of man. Meanwhile, a detailed tracing of the inner affinity of Zosima, Alyosha and even Ivan with the “ridiculous man” makes it possible to point out some recurring motives and, accordingly, the key stages of formation of the late Dostoevsky's concept of the renewal of the world and the techniques of its artistic embodiment. The work also shows how the shortcomings of the Bakhtinian approach to Dostoevsky occasionally surface in modern Dostoevsky studies impacting the interpretation of “The Dream of a Ridiculous Man”.

Key words: Dostoevsky, “The Dream of a Ridiculous Man”, auto-intertextuality, interpretation, Bakhtin, ambivalency, Christian, recurring motives.

For citation: Kibalnik, S.A. *Moi “Anti-Bakhtin” (k voprosu o nauchnoi interpretatsii “fantasticheskogo rasskaza” “Son smeshnogo cheloveka”)* [My “Anti-Bakhtin” (on the Issue of Interpretation of Dostoevsky's Story “The Dream of a Ridiculous Man”)]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2022, Vol. 81, No. 1, pp. 65–73. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800018924-2

1. Что не так в бахтинской концепции “полифонического романа” Достоевского?

Оригинальное истолкование творчества Достоевского М.М. Бахтиным, как известно, оказало и до сих пор оказывает серьезное влияние на российских и зарубежных исследователей на протяжении вот уже почти столетия. Между тем, с течением времени это истолкование все больше и больше оказывается несовместимым с научной интерпретацией творчества писателя.

В ранней книге “Проблемы поэтики Достоевского” (1929) истолкование творчества писателя вне религиозно-этических категорий было со стороны Бахтина, по его собственным словам, вынужденным шагом [1, с. 111]¹. Следовательно, напрасно его добровольно разделяют и развивают некоторые современные исследователи, слишком доверившиеся постмодернистским представлениям о безусловном равноправии участников бахтинского “диалога”.

Об этом убедительно писала В.Е. Ветловская. Она указывала на то, что «о “равноправии” автора и героя у Достоевского не может быть и речи» [2, с. 406]. Ведь если “основной особенностью романов Достоевского” Бахтиным объявлена “множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов” [3, с. 5], то на практике это означает то, что «уже не тот или иной герой и его слово (в обычной терминологии

Бахтина — “голос”), а все герои с их словами (все “голоса”) для автора одинаково значимы и ценны...» [2, с. 407].

Стоит, впрочем, еще раз подчеркнуть, что новаторство Достоевского действительно заключалось в самодостаточности каждого из “голосов”, представленных в диалоге сознаний героев, и эту самодостаточность Бахтин показал очень хорошо. Только он не учитывал при этом в должной мере, что роман Достоевского включает в себя не только такой “диалог” героев, но и художественный сюжет, в котором их позиции проходят испытание.

Между тем, сюжет у Достоевского всегда выстроен так, что в конце концов мы ясно видим: одних героев их “голоса” ведут к преступлению и жизненному краху, а других — к “деятельной любви” и счастью. Вот почему бахтинская концепция “полифонического романа” неминуемо означает размытость авторской позиции, присущую многим постмодернистским и некоторым модернистским произведениям, но никак не творчеству Достоевского.

К сожалению, как мы увидим ниже, эта аберрация Бахтина присуща и разделу “Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Достоевского”, который появился во втором издании его книги, вышедшем в 1963 г. Посредством детального анализа рассказа “Сон смешного человека”, который в него вошел, попытаемся разобраться с вопросом о состоятельности и плодотворности бахтинского подхода к русскому писателю.

Для решения основной задачи настоящей главы стоит отвлечься от вопроса о том, достаточно

¹ Впрочем, не все исследователи склонны соглашаться с объяснениями концепции Бахтина условиями “жесткой цензуры” (см., например: [2, с. 397]).

ли оснований для того, чтобы говорить о существовании жанра “мениппей” (см.: [4]) и тем более о его наличии в литературе нового времени — в частности в творчестве Достоевского.

По нашему мнению, как и по мнению ряда других исследователей, значение мениппей для “Сна...”, как и для многих других произведений Достоевского, Бахтиным сильно преувеличено. По-видимому, “мениппова сатира” — в лучшем случае всего лишь архетип — да и то не единственный — множества разных жанров многовековой европейской литературы, отозвавшихся в рассказе Достоевского.

Сосредоточимся теперь на основном тезисе Бахтина: о том, что присущая мениппее амбивалентность смыслов определяет главное в “Сне смешного человека”.

2. Что не так в бахтинском представлении об “амбивалентности” “смешного человека”?

Вначале обратимся к детальному анализу рассказа Бахтиным и рассмотрим, насколько серьезные основания имеет под собой каждое звено в его логической цепи.

Во-первых, философ произвольно утверждает, что в “Сне смешного человека” “доминирует” “в жанровом отношении античный тип мениппей” [3, с. 421]. В действительности, в “Сне...” “доминирует” “в жанровом отношении” как раз не столько античный, сколько ренессансный и новоевропейский (отчасти романтический) дух — причем не мениппей, а европейских утопий.

О значении последних в “Сне...” Бахтин также пишет. Однако почему-то только о столь далекой от него по времени созданию утопии — “Другой свет, или Государства и империи Луны” (1647–1650) Сирано де Бержерака, а не, например, о “Путешествии в Икарию” (1840) Этьена Кабе, о котором упоминал сам Достоевский.

Во-вторых, связывая “Сон...” с целым рядом “мениппей”, Бахтин называет, но недооценивает его соотнесенность с философской повестью Вольтера “Микромегас”. Между тем, связь с ней имеет в рассказе не только жанровый, но и значимый интертекстуальный характер.

Так, относительно причин несчастья людей на Земле философы в “Микромегасе” полагают, что в них “больше материи, чем нужно для того, чтобы натворить много зла... <...> если только зло исходит от материи; и **слишком много духа, — если зло исходит от духа**” [5, с. 214]. Обратим внимание на то, что именно баланс между развитием и целостностью сознания и представляет

центральную проблему человеческого счастья в “Сне смешного человека”.

В-третьих, Бахтин усматривает в рассказе Достоевского “существенные элементы диатрибы, исповеди и проповеди” [3, с. 421]². Между тем, в рассказе нет никакой “исповеди”, а проповедовать истину герой только лишь еще собирается. Точнее было бы сказать, что утопию в “Сне смешного человека” вначале сменяет дистопия, а после этого в рассказе намечается возможность реализации новой утопии.

В-четвертых, философ полагает, что «в центральной фигуре “смешного человека” явственно прощупывается амбивалентный серьезно-смеховой образ “мудрого дурака” и “трагического шута” карнавализированной литературы» [3, с. 423]. На первый взгляд, здесь все верно, но это не совсем так: слово “карнавализированной” тут совершенно необязательно.

Никакой “карнавальности” в “Сне...” нет. Значение ее в творчестве Достоевского Бахтин вообще сильно преувеличил. И об этом уже писали — в особенности на материале романа “Бесы”. Как отмечал И.П. Смирнов, «трагикомический маскарад романтического произведения перерастает у Достоевского в этом произведении в “антикарнавал”» [6, с. 103]. Ему вторит В.К. Кантор: “...в отличие от Бахтина, Достоевскому карнавал не казался освобождающей силой в России. <...> Карнавал, на взгляд писателя, ведет к тотальному уничтожению нравственных христианских законов, элиминирует личность” [7, с. 238–239].

Как известно, тип “мудрого дурака” Достоевский находил и у Сервантеса, и у Диккенса, и у Пушкина. И если о “Дон-Кихоте” еще можно спорить, то такие произведения, как “Записки Пиквикского клуба” или пушкинское стихотворение “Жил на свете рыцарь бедный” под понятие “карнавализированной литературы” никак не подходят.

В-пятых, “в абсолютном равнодушии и предощущении небытия” “смешного человека” в начале рассказа Бахтин видит “одну из многочисленных у Достоевского вариаций темы Кириллова” [3, с. 424–425]. Между тем, поскольку Кириллову “абсолютное равнодушие” в общем несвойственно, а стремление к самоубийству (а не какое-то туманное “предощущение небытия”) связано у него с идеей “человекобожества”, то у “смешного человека” это скорее вариация другой темы — темы

² Гораздо прозорливее замечание исследователя о “вариации кризисных снов, приводящих человека к перерождению и к обновлению” [3, с. 420].

равнодушия по отношению к другим, которое оказывается разрушительным по отношению к себе. Так что в действительности это вариация темы Ставрогина.

В-шестых, обнаруживая в “смешном человеке” один общий со Ставрогиным мотив — конкретно в его вопросе о том, было ли бы ему стыдно за “бесчестный поступок”, совершенный на другой планете, Бахтин опять-таки истолковывает его не совсем верно: «Всё это — знакомая нам проблематика Ипполита (“Идиот”), Кириллова (“Бесы”), могильного бесстыдства в “Бобке”. Более того, всё это — лишь разные грани одной из ведущих тем всего творчества Достоевского, темы “всё позволено” (в мире, где нет Бога и бессмертия души) и связанной с ней темы этического солипсизма» [3, с. 426].

Как мы уже видели на примере сопоставления “смешного человека” с Кирилловым, это не совсем та же проблематика. То же самое легко может быть показано посредством сопоставления “Сна...” с “Идиотом” или “Бобком”. Что касается темы “Если Бога нет, то всё позволено”, то это также отдельная и самостоятельная тема, по-настоящему развитая у Достоевского только в “Братьях Карамазовых”.

В-седьмых, мнение Бахтина о том, что «описание земного рая выдержано в духе античного “золотого века” и потому глубоко проникнуто карнавальным мироощущением», страдает односторонностью. В действительности, мотивы “всеобщей любви”, “единства с целым в общении с другими людьми” и “подобия людей в раю детям” встречаются в европейской философии и литературе — в частности в “Речах о религии к образованным людям, ее презирающим” (1899) Фр. Шлейермахера³ и других произведениях немецкой философской мысли эпохи романтизма.

В-восьмых, Бахтин не совсем точно выделил ряд других внутренних связей рассказа с предшествующими произведениями Достоевского: «Отметим еще тему обиженной девочки, которая проходит через ряд произведений Достоевского: мы встречаем ее в “Униженных и оскорбленных” (Нелли), в сне Свидригайлова перед самоубийством, в “исповеди Ставрогина”, в “Вечном муже” (Лиза); тема страдающего ребенка — одна из ведущих тем “Братьев Карамазовых” (образы

страдающих детей в главе “Бунт”, образ Илюшечки, “дитё плачет” в сне Дмитрия). Есть здесь и элементы трущобного натурализма: капитан-дебошир, просящий милостыню на Невском (а этот образ знаком нам по “Идиоту” и по “Подростку”), пьянство, картежная игра и драка в комнате рядом...» [3, с. 427].

Как обычно, перечень Бахтина неполон, а параллели его слишком общи и потому приблизительно. При этом параллели с “Униженными и оскорбленными” — а к ним стоило бы еще прибавить и параллель с незадолго до того написанным “Мальчиком у Христа на елке” (1876) — здесь очень даже кстати. Параллели же с Матрешей из “Бесов”, очевидно, к делу не идут. Тема “обиженной девочки” в “Сне...” звучит совсем по-другому.

Если “звездочка” наводит “смешного человека” на мысль, что нужно совершить самоубийство именно сегодня, то “девочка” заставляет его это самоубийство отложить: “Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел” [8, т. 25, с. 111]. Герой отдаляет свой выстрел осознанием того, что ему на самом деле пока еще не до конца безразличны земные дела.

Не случайно приближаясь в своем сне к какой-то “другой земле”, “смешной человек” сотрясается “от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую” он “покинул”. И именно потому в этот момент “образ бедной девочки”, которую он “обидел, промелькнул” перед ним [8, т. 25, с. 111].

Что касается “капитана”, то на этого эпизодического героя рассказа тоже стоило бы взглянуть повнимательнее: “Рядом, в другой комнате, за перегородкой, **продолжался содом**. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил **отставной капитан**, а у него были гости — человек шесть стрюцких, **пили водку и играли в штос старыми картами**. **В прошлую ночь была драка**, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она **боится капитана ужасно**. <...> Этот капитан, я наверно знаю, **останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность**” [8, т. 25, с. 111]. Даже и без текстуальных сопоставлений с “Бесами” очевидно, что этот образ — своего рода “тень” капитана Лебядкина.

При этом в “Сне...” значимо “мирное существование” с ним “смешного человека”: “На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), **капитан во весь**

³ Убедительные параллели такого рода были представлены 11 ноября 2021 г. в докладе А.Б. Криницына «“Речи о религии” Ф.Д. Шлейермахера и теодицея Достоевского» на Международной научной конференции в СПбГУ “Ф.М. Достоевский: 200 лет со дня рождения”.

месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю» [8, т. 25, с. 111].

Это “мирное сосуществование” “смешного человека” с “капитаном” — в свою очередь отзвук “Бесов”, а именно того, как Ставрогин довольно долго вполне уживался с капитаном Лебядкиным.

Тем самым оно обретает характер не простой снисходительности, а преступного потворства, открывающего далеко не безвредный характер универсального безразличия героя.

В-девярых, Бахтин утверждал, что «вообще в “Сне смешного человека” господствует не христианский, а античный дух» [3, с. 421]. С этим вполне соглашался В.А. Туниманов: “В описании счастливой планеты отсутствуют религиозно-христианская окраска, доминируют языческие мотивы — и в этом коренное отличие интерпретации Золотого века у Достоевского от религиозно-мистической, по преимуществу, у немецких романтиков (Новалис, Тик, Вакенродер)” [9, с. 57].

В действительности, это не совсем так, а, может быть, и совсем не так. “Христианская окраска” “в описании счастливой планеты” отнюдь не отсутствует. Хотя звучит она приглушенно, но значение ее, по крайней мере, не меньшее, а скорее даже большее.

3. Топос обновления мира в “Сне смешного человека”

Христианское понятие “грехопадения” заявлено с самого начала прибытия “смешного человека” на другую планету, так похожую и не похожую на Землю: “Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем” [8, т. 25, с. 112]⁴.

В дальнейшем это “грехопадение” все же происходит, но смысл его у Достоевского переосмыслен. В “Сне...” “грехопадение” происходит

⁴ «Райское неведение, — замечал по этому поводу Лев Шестов, — отнюдь не беднее, чем ведение падшего человека. Оно качественно иное и бесконечно богаче и содержательнее всех наших знаний: кой-кто (например, Достоевский в “Сне смешного человека”) умел эту тайну подглядеть и даже рассказать о ней» [9, с. 430].

не от ветхозаветного “искушения”. Виновником его оказывается не дьявол, не Адам и Ева, а сам “смешной человек”: “...кончилось тем, что я развратил их всех!”⁵.

При этом он сам до конца не понимает, как это произошло: “Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я” [8, т. 25, с. 116].

Более того, сами обитатели “счастливой” планеты не только не обвиняют в своем “грехопадении” “смешного человека”, но и вовсе не стремятся вернуться в прежнее состояние: “И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их, хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались” [8, т. 25, с. 116].

Между прочим, на смену “беспрерывного единения с Целым, вселенной” после грехопадения к ним приходит представление о Боге: «Они отвечали мне: “Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем»» [8, т. 25, с. 116]. Так что в рассказе упоминаются христианские категории как в переосмысленном, так и в традиционном их виде.

В финале рассказа “смешной человек” будет видеть все зло в следующем представлении: «“Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья” — вот с чем бороться надо!» [8, т. 25, с. 119]. Следовательно, изображенное в рассказе “грехопадение” заключается именно в таком доминировании сознания — и соответственно, рассудочного познания (ср.: [10, с. 279]) — над непосредственным ощущением жизни, в результате которого “непосредственный человек”, если говорить об этом в понятиях “Записок из подполья”, уступает на “счастливой планете” место “человеку сознающему”.

Своей склонностью к самобичеванию несколько напоминает “смешного человека” рано умерший брат старца Зосимы Маркел: “Да, говорит, была такая божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один всех обесчестил...” [8, т. 14, с. 263].

⁵ Вряд ли Достоевский мог углубляться в эту тему в подцензурном издании. Иначе это могли бы считать за ересь и кощунство.

Отчасти предвещает “смешной человек” и Ивана Карамазова с его “равнодушием” к окружающим, которое присуще ему, как и герою “Сна...” вначале, и ненамеренным “развращением” носителя непосредственного сознания — своего незаконнорожденного брата Смердякова.

Все эти параллели с непреложностью показывают, что “смешному человеку” вовсе не присуща безграничная амбивалентность героя “карнавализированной литературы”. “Фантастический рассказ” Достоевского, как и “Братья Карамазовы”, являет нам трагическую диалектику представителя развитого сознания, от равнодушия к другим теряющего ощущение ценности человеческой жизни, а затем еще и непроизвольно заражающего отсутствием непосредственного восприятия жизни “счастливых людей” “новой земли”.

Рассказ Достоевского — философская притча, в которой перед нами развернут ряд христианских понятий — как в переосмысленном, так и в традиционном виде, а не подлежащая какому угодно истолкованию комическая и одновременно серьезная карнавализованная “мениппея”.

4. В чем заключается действительная амбивалентность “смешного человека”?

«В образе “смешного человека”, — утверждал Бахтин, — амбивалентность в соответствии с духом мениппеи обнажена и подчеркнута» [3, с. 423]. Между тем, если эта “амбивалентность” и присуща герою, то носит отнюдь не беспредельный и карнавальский характер, а связана только с некоторой двойственностью его идеала.

Отвергая пагубы чрезмерно развитого сознания, он одновременно сохраняет свою приверженность к любви, смешанной с мучениями и страданием. С этой приверженностью он покидает землю: “И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагоприятных даже детях своих, как и наша?... — вскрикивал я, сотрясаясь от неустойчивой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул”.

Она рождает в “смешном человеке” раскаяние в совершенном самоубийстве и ощущение того, что “никогда, никогда не переставал” он “любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней”, он, “может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо”: “Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе

не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю⁶, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..”.

Однако эта противоречивость позиции “смешного человека” обозначена совершенно отчетливо, а вовсе не связана с якобы данной нам возможностью того или иного ее истолкования.

В рассказе воплощено, с одной стороны, присущее Достоевскому на протяжении всего его творческого пути преклонение перед человеком цельного сознания, а с другой — свойственное ему же ощущение неполноты счастья любви к другим, пока оно не прошло через испытания.

Всем строем своего рассказа Достоевский утверждает важность умения “жизнь полюбить больше, чем смысл ее” [8, т. 14, с. 210], как эту мысль будет впоследствии формулировать Иван Карамазов. К тому же он показывает, как даже душа носителя развитого сознания перерождается под воздействием “любви” “детей Солнца”, которая “изливается” на него [8, т. 25, с. 112–113].

Тем самым рассказ знаменует важный шаг писателя на пути переосмысления разделяемой им в прошлом “почвеннической” идеологии.

5. Рассказ Достоевского под пером последователей Бахтина

К сожалению, издержки бахтинского подхода к Достоевскому то и дело сказываются и в современном достоевковедении — в том числе и в истолковании “Сна смешного человека”.

Например, К.А. Степанян, с одной стороны, проводит тонкие параллели между рассказом Достоевского и “Братьями Карамазовыми”, важные для понимания обоих произведений. Так, рассуждение черта из “Братьев Карамазовых”: “Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие: всё обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, да скучновато” [8, т. 15; с. 77] — по наблюдению исследователя, может послужить ключом к пониманию того, почему жизнь на счастливой планете в конце концов перестает удовлетворять людей: «Не напоминает ли жизнь людей на “планете Солнца”, увиденная “смешным” по прибытии туда, “один

⁶ Именно это произойдет с Алешей Карамазовым после смерти старца Зосимы: “...и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему так неустойчиво хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами...” [8, т. 14, с. 323].

сплошной молебень”? Да, “дети Солнца” были счастливы и скуки не испытывали, но счастье это, не включающее в себя знания о страдании, было *чревато* скукой» [12, с. 65].

Только дело здесь не столько в скуке, сколько в неполноте счастья любви к другим, пока оно не прошло через страдания. Об этом хорошо писал в связи с рассказом Достоевского Н.А. Бердяев: “Человек должен до конца принять страдальческий путь свободы. И Достоевский раскрывает уже последние результаты этого пути. Мирообожествление и человекообожествление ведет к гибели и небытию. И неизбежен переход на путь богочеловеческий” [13, с. 103].

С другой стороны, К.А. Степанян напоминает о том, что «...после своего сна, даровавшего ему Истину, “смешной человек” думает так же, как “зараженные трихинами” люди из апокалиптического сна Раскольникова на каторге: “Они (окружающие его люди. — К.С.) не знают Истины. Ох, как тяжело одному знать Истину” — сравним: “Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других...”» [13, с. 70]. При этом исследователь задается вопросом: «В чем различие Истины “смешного” и истин “зараженных”? В том, что их истины — для каждого своя, а его — единая, спасительная для всех, лежащая в основе мироздания Истина? Но откуда тогда у “смешного” такая уверенность в своей исключительности? Знающим Истину подобное несвойственно» [13, с. 70].

Однако ощущение каждым из “зараженных” того, что “в нем одном и заключается истина”, в действительности означает упоение его собственным эгоизмом и в “Сне...” сопоставимо в первую очередь не с убежденностью “смешного” в том, что он один знает истину.

Сопоставимое со сном Раскольникова место рассказа находится в аналогичной картине “борьбы за разьединение, за обособление, за личность, за мое и твоё”: “Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, **не переставая любить себя больше всех**, в то же время не мешать никому другому...” [8, т. 25, с. 117].

В обоих случаях здесь звучит та или иная вариация штирнеровского мотива обожествления “себя”.

Смешивая на основе внешнего совпадения слова совершенно разных героев Достоевского, К.А. Степанян присоединяется к тем немногочисленным исследователям, которые склонны

не доверять декларациям героя об увиденном им во сне “откровении” и не соглашаться с тем, что его убежденное проповедничество в финале рассказа легитимировано его автором как такое, которое ведется с позиций действительно обретенной истины. Между тем, контекст “Дневника писателя за 1877 год” позволяет без труда ощутить в ней голос самого Достоевского.

«После своего сна, — обосновывает далее свою точку зрения К.А. Степанян, — “смешной” утверждает: “Не могу и не хочу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей”. А в июльско-августовском выпуске “Дневника писателя” за тот же 1877 г. читаем: “Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем полагают лекаря-социалисты, что **ни в каком устройстве общества** не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой”. И опять могут возразить: эти слова Достоевского относятся к послегрехопадному человечеству, а “смешной” видел другое. Но почему тогда не “дети Солнца” сделали “смешного” подобным себе, а он развратил их всех? Потому что это *его* сон? Или потому, что “зло таится в человечестве глубже”?..» [12, с. 75–76].

Однако ведь приведенные исследователем слова Достоевского сказаны им в полемике с социалистами⁷. Смысл их в том, что только переустройством общества зла избежать невозможно, потому что “ненормальность и грех исходят” из самой человеческой души.

Всё же это не значит, что избежать зла, по Достоевскому, невозможно. Просто для этого нужно переустройство не только общества, но и человека, и потому в мгновение ока такого не достичь.

Вот какую мысль проводит Достоевский всем строем своих поздних произведений, как бы иллюстрируя ими положения своего “русского социализма” (см.: [8, т. 27, с. 19]) — своеобразной разновидности “социального христианства”. Что же до большинства “парадоксов” “Сна смешного человека”, увиденных исследователем⁸, то на поверку они оказываются не более чем миражами.

⁷ Точно так же, как и параллель, приведенная К.А. Степаняном к “Сну смешного человека” из подготовительных материалов к “Бесам”, где говорится о том, что если захотеть все устроить “вдруг”, то выйдет “дело бесовское” [12, с. 195].

⁸ Вот один из самых показательных мнимых парадоксов рассказа, который с непреложностью удостоверяет превратность его интерпретации исследователем: «гибель человечества привела к спасению одного человека — “смешного”» [12, с. 78].

Складывается впечатление, что, будучи не в силах преодолеть постбахтинскую традицию преувеличения амбивалентной природы русской классики XIX века, значительная часть современной литературоведческой мысли нередко блуждает в поисках мнимых сложностей⁹.

При этом, как правило, недооценивается связь созданных тем же Достоевским творений с его личностью и пройденным писателем долгим путем.

6. Чего не увидел Бахтин в “Сне смешного человека”?

Свой анализ “Сна смешного человека” Бахтин заключает такими словами: “Нас прежде всего интересовало, как проявляется в этих произведениях жанровая сущность мениппеи. Но в то же время мы старались показать, как традиционные черты жанра органически сочетаются с индивидуальной неповторимостью и глубиной их использования у Достоевского” [3, с. 428].

Как мы видели, если первую из этих задач Бахтин, может быть, и решает, то второй, по существу, даже не касается. Рассматривая только античный колорит в изображении “счастливых людей”, он совершенно проходит мимо как традиционных, так и переосмысленных христианских категорий, имеющих в тексте рассказа.

Неточно считывая автоинтертекстуальность “Сна...” по отношению ко многим другим предшествующим и последующим произведениям Достоевского, Бахтин не улавливает специфическую для писателя постановку темы. И, соответственно, не замечает в нем мотивы губительности универсального “равнодушия”, невозможности сохранения в современном мире “целостности” сознания и издержек его развития в человеке. А значит, проходит мимо самого существенного в рассказе.

Между тем, детальное прослеживание внутреннего сродства Зосимы, Алеши и даже Ивана со “смешным человеком” (см. об этом подробнее: [15]) позволяет вычленил некоторые сквозные мотивы и узловые моменты как становления у позднего Достоевского концепции обновления мира, так и особенностей ее художественного воплощения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 70–89.

⁹ О других явлениях подобного рода в современном достоевсковедении см.: [14, с. 25–34].

2. Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы”. СПб.: Пушкинский Дом, 2007. 640 с.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Издательство “Э”, 2017. 638 с.
4. Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина (Доклад на международной научной конференции “Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения”, 10–11 ноября 2004, Москва, МГУ) // Вестник гуманитарной науки. 2004. № 6 (78).
5. Вольтер. Избранные произведения. М.: ГИХЛ, 1947. 644 с.
6. Смирнов И.П. “Горе от ума” и “Бесы” // А.С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л.: Наука, 1977. С. 99–108.
7. Кантор В.К. Изображая, понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте. М.; СПб.: Росспэн, 2018. 832 с.
8. Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
9. Туниманов В.А. Сатира и утопия (“Бобок”, “Сон смешного человека” Ф.М. Достоевского) // Туниманов В.А. Лабиринт сцеплений: избранные статьи. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. С. 39–60.
10. Шестов Л. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия // Н.А. Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб.: РХГА, 1994. С. 505–537.
11. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М.: Республика, 1996. 447 с.
12. Степанян К.А. Загадки “смешного человека” // Достоевский и мировая культура. Альманах № 32. СПб.: Серебряный век, 2014. С. 63–83.
13. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М.: ИЧП “Лига”, 1994. Т. 2.
14. Кибальник С.А. Основные тенденции современного изучения творчества Ф.М. Достоевского // Достоевский в медийном пространстве современной русской культуры / Отв. ред. С.А. Кибальник. СПб.: ИД “Петрополис”, 2021. С. 25–34.
15. Кибальник С.А. “Братья Карамазовы” и “Сон смешного человека” (к вопросу об автоинтертекстуальности у позднего Достоевского) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2021. Т. 80. № 1. С. 62–70.

REFERENCES

1. Bocharov, S.G. *Ob odnom razgovore i vokrug nego* [On One Talk and Something Else]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review]. 1993, No. 2, pp. 70–89. (In Russ.)

2. Vetlovskaya, V.E. *Roman F.M. Dostoevskogo "Bratya Karamazovy"* [Dostoevsky's Novel "Brothers Karamazov"]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2007. 640 p. (In Russ.)
3. Bakhtin, M.M. *Problemy poetiki Dostoyevskogo* [The Issues of Dostoevsky's Poetics]. Moscow, 2017, pp. 220–612. (In Russ.)
4. Gasparov, M.L. *Istoriya literatury kak tvorchestvo i issledovanie: sluchai Bakhtina* [History of Literature as Creating: Bakhtin's Case]. *Vestnik gumanitarnoi nauki* [Humanities Bulletin]. 2004, No. 6 (78). (In Russ.)
5. Voltaire. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow, GIHL Publ., 1947. 644 p. (In Russ.)
6. Smirnov, I.P. "Gore ot uma" i "Besy" ["Woe from wit" and "The Possessed"]. *A.S. Griboedov. Tvorchestvo. Biografiya. Traditsii* [A.S. Griboedov. Creation. Biography. Traditions]. Leningrad, Nauka Publ., 1977, pp. 99–108. (In Russ.)
7. Kantor, V.K. *Izobrazhaya, ponimat', ili Sententia sensa: filosofiya v literaturnom tekste* [Depicting, understand, or Sententia Sensa: Philosophy in a Literary Text]. Moscow; St. Petersburg, 2018. 832 p. (In Russ.)
8. Dostoevsky, F.M. *Polnoye sobraniye sochineniy v 30 t.* [Complete Works in 30 Volumes]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
9. Tunimanov, V.A. *Satira i utopiya ("Bobok", "Son smeshnogo cheloveka")* [Satire and Utopia ("Bobok" and "The Dream of a Ridiculous Man")]. Tunimanov, V.A. *Labirint skrepleniya. Izbrannyye statyi* [Clutch Labyrinth. Featured Articles]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2013, pp. 39–60. (In Russ.)
10. Shestov, L. *Nikolay Berdyaev. Gnozis i ekzistentsialnaya filofofiya* [Nikolai Berdyaev. Gnosis and Existential Philosophy]. *N.A. Berdyaev: pro et contra. Antologiya. Kn. 1* [N.A. Berdyaev: pro et contra. Anthology. Book 1]. St. Petersburg, 1994, pp. 505–537. (In Russ.)
11. Laut, R. *Filosofiya Dostoevskogo v sistematicheskoy izlozhenii* [Dostoevsky's Philosophy in a Systematic Presentation]. Moscow, Respublika Publ., 1996. 447 p. (In Russ.)
12. Stepanian, K.A. *Zagadki "smeshnogo cheloveka"* [The Mysteries of "Ridiculous Man"]. *Dostoyevsky i mirovaya kultura* [Dostoevsky and the World Culture]. 2014, No. 32, pp. 63–83. (In Russ.)
13. Berdyaev, N.A. *Mirosozertsanie Dostoevskogo* [Dostoevsky's Worldview]. Berdyaev, N.A. *Filosofiya tvorchestva, kulture i iskusstva* [Philosophy of Creativity, Culture and Art]. Moscow, 1994. Vol. 2. (In Russ.)
14. Kibalnik, S.A. *Osnovnye tendentsii sovremennogo izucheniya F.M. Dostoevskogo* [The Main Trends in the Modern Study of F.M. Dostoevsky's Creativity]. *Dostoyevskiy v mediyniom prostranstve sovremennoi russkoi kulture* [Dostoevsky in the Media Space of Modern Russian Culture]. Ed by S.A. Kibalnik. St. Petersburg, "Petropolis" Publ., 2021, pp. 25–34. (In Russ.)
15. Kibalnik, S.A. *"Bratya Karamazovy" i "Son smeshnogo cheloveka" (k voprosu ob avtointertekstualnosti u pozdnego Dostoyevskogo)* ["Brothers Karamazov" and "The Dream of a Ridiculous Man" (on the Issue of Auto-Intertextuality of the Late Dostoevsky)]. *Izvestia Rossijskoy akademii nauk. Seriya literatury i yazyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2021, Vol. 80, No. 1, pp. 62–70. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 25 марта 2021 г.
 Статья поступила после рецензирования и доработки: 19 сентября 2021 г.
 Статья принята к публикации: 02 декабря 2021 г.
 Дата публикации: 28 февраля 2022 г.

Received by Editor on March 25, 2021
 Revised on September 19, 2021
 Accepted on December 02, 2021
 Date of publication: February 28, 2022